

В.И.ДАЛЬ



ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

7

Владимир Иванович Даль

Петербургский дворник

Большой резонанс нашли в русской общественной жизни очерки «Петербургский ворник» (1844) и «Денщик» (1845). Переизданные в 1845 году в «Физиологии Петербурга», содержащей литературное credo «натуральной школы», они прочно и навсегда связали имя Даля с передовым направлением 40-х годов, с именами Некрасова и Белинского.

Владимир Иванович Даль
Петербургский дворник

На дворе погода какая-то средняя, то есть люди заезжие полагают, что она дурна; коренные жители находят, что она довольно сносна, и надеются, что к вечеру еще проведется, а каретные извозчики ею вполне довольны: езды в крытых экипажах больше.

Один дворник метет плитняк, другой, напротив, на общую пользу салопов и шинелей пешеходов, лакирует чугунные надолбы постным маслом с сажей.

– Никак, Иван, у тебя масло-то неваренное? – сказал тот, что с метлой.

– А что?

– Да так, что-то не слышать его через улицу; а то, бывало, таки переносит от тебя к нам.

– И то сырое. Тут не до варки, а вымазать бы только, чтоб не потянули опять.

Чиновники идут средней побежкой между иноходи и рыси, так называемым у барышников перебоем; первый дворник метет размашисто всех их сряду по ногам. Они поочередно подпрыгивают через метлу; один, однако же, миновав опасность, останавливается и бранится.

Дворник продолжает свое дело, будто не

слышит, и ворчит после про себя, но так, что через улицу слышно: «А обойти не хочешь? Нешто глаз во лбу нету?» Другой дворник, для которого, собственно, острое словцо это было пущено, смеется и, выпрямившись, засучивает несколько рукава, шаркнув себя локтем по боку, передает черную масляную ветошку, для отдыха, из правой руки в левую, а освободившуюся рукою почесывает голову.

Порядочно одетый человек останавливается у ворот дома, смотрит на надпись и, оглядываясь, говорит:

– Эй, любезный, где здешний дворник?

Григорий молчит, будто не слышит; тот повторяет вопрос свой погромче и понастойчивее.

– Там, спросите во дворе.

Господин уходит под ворота; второй дворник, Иван, смеется:

– Ты что ж не отозвался?

– Много их ходит тут! – отвечает первый и продолжает мести.

В это время извозчик на выездах проезжает шагом, дремля бочком на дрожках; лошадь разбитая, дрожки ободранные, кожа между

крыльями прорвана, из-под подушки кругом торчит сено, гайка сваливается с колеса.

Дворник с метлой глядит несколько времени вслед за извозчиком, потом выходит на середину улицы, подымает гайку и кладет ее в карман. Колесо с дрожек соскочило, извозчик чуть не клюнул носом в мостовую, соскакивает, останавливая лошадь, оглядывается кругом и бежит назад. Увидав дворника на пути со середины улицы к плитняку, обращается к нему.

– Ты, что ли, поднял, дядя?

– Кого поднял?

– Да гайку-ту; отдай, пожалуйста!

– А ты видел, что ли?

– Да чего видел? Отдай, пожалуйста.

– Отдай! Что я тебе отдам? Ты бы сперва двугривенный посулил, а там бы говорил «отдай».

Спор становится понемногу жарче; извозчик сперва просит, там божится, что у него нет ни пятака, что он только вот выехал; потом пошла брань и крик, в котором, кроме обычных приветствий, слышно только с одной стороны: «Отдай, я тебе говорю, отдай!» –

а с другой: «Что я тебе отдам? Да ты видал, что ли?» С этим воинственным криком неприятели друг на друга наступают; дворник Иван, с помазком в руке, пользуется приятным зрелищем и, улыбаясь, отдыхает от трудов; народ начинает собираться, образуя кружок.

Какой-то дюжий парень также останавливается и, узнав в чем дело, говорит извозчику:

– Да ты что горло дерешь, толкуешь с ним, с собакой? Ты в рыло его, а я поддам по затылку.

И едва это было сказано, как и тот и другой, будто по команде, в один темп исполнили на деле это дельное увещание.

Народ кругом захохотал. А оглушенный неожиданным убеждением строптивый Гришка, потряхнув слегка головой, достал гайку из кармана шаровар и отдал извозчику с советом не терять ее в другой раз, а то-де ину пору и не воротись; иной и не отдаст; а за нее в кузнице надо заплатить целковый, да еще накланяешься, да наприсишься: вашего брата там много!

Зрители, натешившись этим позорищем, разошлись своим путем, оглядываясь по временам назад; извозчик надел колесо, навернул гайку и во все это время бранился. Дворник Григорий принялся опять за метлу и ограничился повторением того же дружеского совета. Дворник Иван подшучивал, смеючись слегка над товарищем:

– Извозчику-то ты что ж так спустил? Эка, здоров кистень у парня-то!

В это время господин, проискав дворника по пустякам во дворе, вышел опять из-под ворот и обратился к нашему приятелю довольно настойчиво:

– Да ты, что ли, здешний дворник, эй!

– А вам кого надо?

– Титулярного советника Былова.

– На левую руку под ворота, в самый вверх, двери на левой руке.

– Так что ж ты не сказал мне давеча, как я спрашивал тебя? Ведь ты дворник здешний?

– Дворник! Мало ли дворников бывает! У других, у хороших хозяев, человека по три живет; это наш только вот на одном выезжает.

Посетитель должен был принять эту логику особого разбора за ответ, пожал плечами и пошел по указанию.

По ту сторону улицы проходят две барыни, у одной из них в руках какая-то шавка; барыня ее усердно лижет и целует.

– Вот, – сказал веселый дворник Иван, – барыни – те детей своих пестовать не хотят, а со щенятами нянчатся!

Обе барыни оглянулись на веселого дворника и посмотрели на него такими глазами, будто он сказал непростительную дерзость.

Между тем из дома дворника с метлой выскочила чумичка, сложив руки под сальным ситцевым передником, который она сшила на свой счет, обидевшись тем, что барыня вздумала подарить ей для кухни пару тиковых или холстинных.

– Григорий! – начала она кричать. – Ах ты, господи, воля твоя, какой народ! Григорий, да что ж ты, не принесешь, что ли, сегодня поды?

– Поспеешь! Что тороплива больно?

– Поспеешь! Ах ты, боже мой! Барыня бранится, в третий раз гоняет меня; я по целому

дому бегала – нет как нет; а он вот еще тут прохлаждается, словно Христа ради воду носит нам, право! – Да иди, что ли, принеси!

– Принеси? Тут вот любое, либо по воду иди, либо улицу мети; а как надзиратель пойдет – так вот и будем мы с тобой у праздника.

– У праздника? Да мне что праздники! Там вы себе, пожалуй, празднуйте, а ты воды принеси!

Григорий поворачивается медведем и отправляется к воротам; чумичка, победив красноречием своим упорство его, убегает проворно под ворота; он сильным взмахом кидает вслед за нею метлу, а Иван кричит, повысив голос:

– Эх! Ушла полубарыня! А так вот чуть-чуть не огрел ее! Больно тонко прохаживаться изволите! – промолвил он, намекая на босые ее ноги. – Чулки отморозите, сударыня!

В промежутке этих забав, однако ж, Иван и Григорий сделали свое дело, потому что за них никто не работал. До свету встань, двор убери, под воротами вымети, воды семей на десяток натаскай, дров в четвертый этаж, за полтинник на месяц, принеси. И Григорий

взвалит, бывало, целую поленницу на плечи, все хочется покончить за один прием, а веревку – подложив шапку – вытянет прямо через лоб, и после только потрет его, бывало, рукой.

Там плитняк выскреби, да вымети, да посыпь песком; улицу вымети, сор убери; у колоды, где стоят извозчики, также все прибери и снеси на двор; за назем этот колонисты платили, впрочем, охотно Григорию по рублю с воза: вишь, немцам этим все нужно. Тут, глядишь, опять дождь либо снег, опять мети тротуары – и так день за день. Во все это время и дом стереги и в Часть сбегай [1] с запиской о новом постояльце; на ночь ляжешь не ляжешь, а не больно засыпайся: колокольчик под самой головой, и уйти от него некуда, хоть бы и захотел, потому что и все-то жилье в подворотном подвале едва помещает в себе огромную печь. Сойдите ступеней шесть, остановитесь и раздуйте вокруг себя густой воздух и какие-то облачные пары, если вас не ошибет на третьей ступени обморок от какого-то прокислого и прогорклого чада, то вы, всмотревшись помаленьку в предметы, среди

вечных сумерек этого подвала увидите, кроме угрюмой дебелий печки, еще лавку, которая безногим концом своим лежит на бочонке, стол, в котором ножки вышли на целый вершок посверх столешницы, а между печью и стеною – кровать, которая вела самую превратную жизнь: она дремала только днем, как дремлет искра под пеплом, – ночью же оживала вся, питаясь тучностью нашего дюжего дворника. Он был независтлив и говаривал, что-де не обидно никому.

Замечательно, что домашняя скотинка эта приучена была к колокольчику, как сажена я рыба, только в обратном смысле: она разбежалась мгновенно, когда зловеший колокольчик раздавался над головою спящего Григория, и терпеливо ожидала возвращения его и смело опять выступала мгновенно в поход, лишь только он ложился, натянув одну полу тулуи себе через голову. Подле печи – три коротенькие полочки, а на них две деревянные чашки и одна глиняная, ложки, зельцерский кувшин, штофчик, полуштофчик, графинчик, какая-то мутная порожняя склянка и фарфоровая золоченая чашка с графской короной.

Под лавкой буро-зеленоватый самовар о трех ножках, две битые бутылки с ворванью и сажей для смазки надолб и, вероятно, ради приятного, сытного запаха, куча обгорелых плошек. Горшков не водится в хозяйстве Григория, а два чугуничка, для щей и каши, постоянно проживают в печи, или по крайней мере с шестка не сходят. Мыть их, хотя по временам, Григорий считал совершенно излишним, убедившись на опыте, что, сколько-де их не мой, они все черны [2].

Тулуп и кафтан висят над лавкой, у самого стола, таким образом, что Григорий во время обеда с товарищами мог доставить и себе и им удовольствие тереться о платье головою. В углу образа, вокруг вербочки, в киоте сбереженное от святой яичко и кусочек кулича, чтоб разговеться на тот год; под киотом бутылка с богоявленской водой и пара фарфоровых яичек. Об утиральнике, который висит под зеркальцем в углу, подле полок, рядом с Платовым [3] и Блюхером [4], надо также упомянуть – хоть бы потому, что он с алыми шитками; утиральник этот упитан и умащен, разнородною смесью всякой всячины досыта, до

самого нельзя, и проживет, вероятно, в этом виде еще очень долго, потому что мыши не могут его достать с гвоздя, а собак Григорий наш не держит, но он именно испытал однажды на своем веку, что голодная собака унесла тайком такой съедобный утиральник, который и пропал бы, вероятно, без вести, если б собака эта не погрызлась из-за лакомого куска с другим псом; ссора эта обратила внимание нашего дворника на спорную добычу, которая и не досталась ни одной из тяжущихся сторон, а была у них отбита. Григорий пнул еще ногою одного пса, встряхнул раза два утиральник и повесил его на свое место. Он в известных случаях любил порядок.

Отчего же – спросите вы – двор и улица были всегда так чисты у Григория, когда конура его не могла похвалиться хозяином слишком чистоплотным? Ну, этой внешней чистоте был виноват не Григорий, а не спускавший с него глаз надзиратель. Вот почему дворнику нашему чистота и надоела до такой степени и опостыла; он все это вымещал на своем подвале, который был у него в полном распоряжении, и тут только Григорий дышал свобод-

но, наслаждаясь мягкой, соляной наружностью всех предметов своего маленького хозяйства, упиваясь благовонием, пресыщаясь питательною густотою доморощенной атмосферы.

На другое утро Иван да Григорий опять поздоровались через улицу с метлами в руках.

– Что ты! Аль не можешь?

– Нет, что-то плохо; через силу хожу – так и подводит животы.

– А ты бы натошак квасу с огурцами поел, посоливши хорошенько.

– Нет, я уж вот золы с солью выпил; авось отпустит.

Но, видно, от золы с солью не совсем отпустило; Григорий пошел к лекарю своему, к лавочнику, и просил помощи. Тот долго не спрашивал, а, узнав главнейшие обстоятельства, положил Григория у себя на печь, велел ему лечь плотнее животом на горячий ржаной хлеб; накрыл больного тулупом, дал ему выпить чего-то горячего ик обеду поставил его на ноги. Григорий поблагодарил своего лекаря и рассудил, что не худо после этого поберечься и довольствоваться в этот день лег-

ким постным столом, то есть: квашеной капустой, огурцами, тухлой рыбой и фонарным маслом [5].

Григорий любит иногда покричать, любит подчас и наругать; но так же охотно смиряется, довольствуясь тем, чтоб, отвернувшись, поворчать, а за глаза и побранить. Сто раз говорил он уже через улицу Ивану, что последний день живет у этого хозяина, отойдет завтра же непременно, а наутро опять выходил на службу с метлой, с лопатой, с ведрами. Хозяин был им доволен, в особенности за честность и строгий присмотр.

Григорий узнавал подозрительных посетителей чутьем, по первому взгляду и выпроваживал их обыкновенно тем, что начинал придирается вопросами о том, к кому и зачем идешь, а потом спрашивал о паспорте и месте жительства. О таких предметах, как Григорий знал по давнишнему опыту и навыку, люди этого разбора беседуют очень неохотно и потому обыкновенно, не затягивая разговора, удалялись на поиски в иное место. Иногда Григорий, встретив в воротах человека с полюбленной бородой, в засаленном цветном бу-

мажном платке и в изорванной шинелишке, пускался немедленно в откровенные с ним объяснения, уверяя его, что здесь-де, брат, нет тебе поживы никакой, право нет, ступай с богом. А поймав у себя в доме подобного человека, он во избежание, по его мнению, лишних хлопот, потаскав незваного гостя за чуб, выпроваживал его взащей. Веселый дворник Иван тешился в таких случаях иначе: он заставлял вора лезть в тесную подворотню и погонял его сзади с разными поговорками метлой.

Но если какой-нибудь счастливый находчик проносил под мышкой попавшееся ему где-нибудь платье, то Григорий с преспокойной совестью торговал и нередко покупал вещь, коли ее отдавали за бесценок и она годилась ему в переделку. «А мне что, – говаривал он, – я почему знаю? Нешто я украд? Украдено, так не у нас».

В праздник Григорий любил одеваться кучером, летом в плисовый поддевок, зимой в щегольское полукафтанье и плисовые шаровары, а тулуп накидывал на плечи. У него была и шелковая низенькая, развалистая шля-

па. Так он сиживал нередко за воротами, сложа руки, насвистывая сквозь зубы или лакомясь моченым горохом, который доставал из красного, как жар, платка. Такие платки ныне в редкость; они назывались «бубновыми», и белые бубны, вытравленные по алому полю какой-нибудь кислотой, вскоре обращались просто в дырочки, что и подавало Григорию повод подбирать по временам горошины с земли, обдуть их и съесть поодиночке. Иван, сидя рядом или насупротив, предпочитал кочерыжки, а если их не было, – репу. Вкусы того и другого мирились летом над незрелым зеленым и жестким крыжовником, не крупнее гороха, и оба дворника запасались тогда почти ежедневно двумя или тремя помадными банками этого лакомства, которое носила по улице уродливая, пирогом повязанная старуха, вскрикивая петухом: «Крыжовник спела-ай! Крыжовник садовой, махровой» и прочее. Она не заламывала головы на верхние окна, а косилась обыкновенно в подвальные жилья и за копеечку нагребала помадную банку верхом.

Орехов Григорий не терпел, уверяя, что

грызть орехи прилично только девкам.

В этом состоял весь праздник Григория; изредка только он напивался вволю, поставив наперед какого-нибудь земляка на целые сутки на свое место. Не приняв наперед этой меры, он не гулял никогда. Всегдашняя поговорка его, когда кто поминал праздник, была: «Какой нашему брату праздник!» Он совершенно соглашался с одним мастеровым, который даже о рождестве как о празднике отозвался однажды с примесью философской хандры, сказав со вздохом: «Что за праздник нашему брату! Тут и всего-то три дня; не успеешь не то что погулять, а на съезжую попасть». — «Ну, наперед не угадаешь, брат, где будешь», — заметил было недогадливый Григорий, но мастеровой отвечал, пожав плечами: «Нет, не берут; первые три дня не приказано брать никого». Но годовые праздники при всей малозначительности своей для Григория как дни пиროванья замечательны были для него тем, что он ходил по порядку собирать со всех постояльцев. И у него, как у самого хозяина, квартиры все были расценены по доходу, от гривенника, получаемого по два

раза в год с прежалкого и прекислого переплетчика, проквашенного насквозь затхлым клейстером, – и до красненькой двух квартир второго жилья. Он перенял у остряка Ивана давать постояльцам своим прозвания по числу рублей, получаемых от них к рождеству и к святой: «двугривенный переплетчик», «трехрублевый чиновник» и прочее. Этим способом, о котором слухи доходили иногда до честолюбивых жильцов, ему даже удавалось повышать водочный оклад, и жилец поступал тогда с трехрублевого в пятирублевый разряд. В случае перехода нового жильца Григорий умел сообщить ему всегда заблаговременно, до наступления праздников, сведение, сколько получалось обыкновенно от его предшественника. С жильцов беспокойных, которые постоянно возвращались домой по ночам, Григорий иногда понастойтельнее требовал на чай, уверяя, что за ними-де хлопот очень много.

У Григория был еще небольшой промысел: он занимался в своем кругу оборотишками по небольшому домашнему банку и отдавал за верным поручительством или под заклады до

сотни рублей в рост. Более восьми или десяти со ста в месяц ему редко удавалось взять; а если его попрекали таким запросом, уверяя, что из казны можно взять за пять или за шесть со ста, то он, махнув рукой, говорил преспокойно: «Ну так поди в казну, а не то вот к графскому камердинеру: тот с тебя возьмет по двадцати в месяц да еще расписку, что залог им куплен у тебя, да, не дождавшись срока, и продаст его, коли хороший покупатель найдется». Григорий не видал тут никакого греха: я, говорит, никого не неволю, никому не напрашиваюсь; мои пятьдесят рублей место не пролежат у меня и в сундуке. Что дело это надо делать тайком – это он очень хорошо понимал; но не потому тайком, чтоб оно было дело виноватое, а потому-де, что, известно уж, во всяком деле надо беречься от придирки да знать его про себя; тут, пожалуй, попадешься за всякую безделицу и во всем виноват останешься. Как старый дворник и уличный петербургский житель, которому нередко случалось сталкиваться и дружиться с народом всякого разбора, Григорий был не только коротко знаком со всеми плутнями петербург-

ских мошенников, но понимал отчасти язык их, и молодой сосед его, Иван, брал у бывалого приятеля своего иногда уроки в этом полезном знании. «Стырить камлюх», то есть украсть шапку; «перетырить жулилу коньки и грабли», то есть передать помощнику-мальчишке сапоги и перчатки; «добыть бирку», то есть паспорт; «увести скамейку», то есть лошадь, – все это понимал Григорий без перевода и однажды больно насмешил веселого Ивана, когда они сидали в праздник рядком за воротами, упиваясь чадом смердящих плошек; небольшая шайка проходила в это время, как видно было, от разъезда театра и, увидев товарища, поставленного для наблюдения за ширманами(то есть за карманами) пешеходов, встретила его вопросом: «Что клею?» – то есть: «Много ли промыслил?» А Григорий отвечал преспокойно: «Бабки, веснухи да лепень», то есть деньги, часы да платок; и мошенники с недоумением посмотрели на Григория, не зная, мазурик ли это, то есть товарищ ли, или предатель. Иван научился также от Григория пугать мошенников и узнавать их в толпе; стоит только сказать: «стрема!», то

есть «берегись!» – и всякий мазурик сейчас же кругом оглянется.

Отчего же, спросите, Григорий, как и все товарищи его, зная и встречая людей этих иногда и с поличным, зная даже нередко по слухам, кто, что и где украл, – отчего же он не ловил их, не доносил на них куда следовало, а смотрел на все это равнодушно, как на постороннее для него и безвредное дело? Оттого, что у него были свои понятия и убеждения, свой взгляд и своя житейская опытность, переходящая с поколения на поколение. Противу таких укоренившихся и воплотившихся доводов спорить трудно. Григорий был твердо, логически убежден, что виноват тот, кто попался, а не тот, кто украл; что только открытое преступление – вина и, наконец, что всегда виноват будет тот, кто гласно впутается в такое опасное дело. У Григория была на это сотня нелепых примеров в запасе: как один будто виноват остался за то, что донес на вора, а другой за то, что его впутали в свидетели; как третьего затаскали в расспросах и показаниях и присудили за *разноречие* о таком деле, о котором он ровно ничего не знал

и сказал один раз, что ничего не знает, а в другой раз, что не знает ничего; как такого-то взяли и посадили за то, что он остановился мимоходом и поглядел на плывущий по воде труп, или так называемое «мертвое тело»; как такого-то записали и осудили прикосновенным к делу за то, что он вздумал было вступить, когда при нем хотели ограбить человека; словом, Григорий почитал себя человеком опытным и по привычке судил о подобных делах весьма хладнокровно.

Григорий знал наизусть звон каждого из жильцов. Просыпаясь ночью от звона, который мгновенно производил такой переворот в жильцах или постояльцах собственной его квартиры, он ворчал обыкновенно про себя спросонья: «Двугривенный барин – ну, не горячись, поспеешь»; потом медленно поворачивался, почесывался, зевал, накидывал свой тулупишко и, взяв ключи, отправлялся босиком по мерзлому снегу, попадая путем-дорого правою рукою в левый рукав тулупа; не находил спросонья рукава, останавливался еще раз под воротами, проворчав: «Кой леший, наглухо, что ли, рукав-эт пришит?» По-

том кричал вслух: «Сейчас», – и ворчал, впрочем не совсем про себя: «Постой, тебе говорят; надорвешься; замерз, что ли, там!» Но растворив наконец калитку, Григорий обыкновенно делался вежливее и мягче в обращении своем и пропускал жильца молча или даже иногда проговаривал, будто нехотя, пополам с позевком: «Извольте-с». У Ивана была на этот счет другая замашка: он, как человек веселый и живой, не заставлял долго дожидаться у ворот; но если время было уже поздно, то, раскланиваясь с вошедшим, говорил только, стоя на морозе босиком в одной рубахе: «У нас, сударь, был тоже один такой, что все поздно домой приходил. Да хороший барин, спасибо, вот как и ваша милость, все бывало, на чай дает». Заметьте: *на чай*, а не на водку; у Ивана был земляк-полотер, человек довольно тонкого обращения, и у него-то Иван выучился объясняться несколько вежливее.

Остается сказать несколько слов о семейных, родственных, хозяйственных и вообще домашних отношениях нашего Григория.

Плох ли он был, хорош ли, честен *по-своему* или *по-нашему*, много ли, мало ли зарабо-

тывал, а кормил дома в деревне семью. И он, как прочие, рассказывал о быте своем все одно и то же: «Вишь, пора тяжелая, хлеба господь не родит, земли у нас малость – а тут подушное, оброк, земство... за отца плати, потому что слеп; ну, за отца все бы еще ничего – а то и за деда плати, потому что и дед еще жив, и даже не слеп, а только всю зиму на печи сидит, как сидел когда-то Илья Муромец; да еще за двух малых ребят, за одного покойника да за одного живого.

Еще на десяток годов станет Григория, может статья и на полтора; там либо пойдет он и сам сядет на печь, сбыв дела, либо займется в деревне торговлей, коли деньги тут не пропадут в закладах. Приедет домой, привезет сотни три-четыре – вырубит под избой продольное окно, подопрет висячий ставень шестом и развесит в лавочке пучков десяток лычных и пеньковых веревок, обротей, недоузdkов да три венка репчатого лука; поставит бочку дегтя, другую меда – они по пословице вместе живут, десяток ременных кнутов, тесаных дуг, оглобель, лаптей, пряников, тесмок и несколько вязанок барашек. Вот и все

припасы и вся торговля; а если вы думаете, что Григорий при таких оборотах из-за хлеба на квас не заработает, так ошибаетесь; он человек бывалый: деготь у него будет такой нескончаемый, что он из одной бочки в розницу две либо три нацедит, мед он пластает и размазывает так мастерски, что коли за чаем не высосешь картузной бумаги, на которую наклеит он четверку, так и вкусу этому меду не узнаешь. А веревки, наконец... да веревкам его конца нет; он меряет их маховыми саженьями и намахает вам их столько, сколько угодно, вот только в глазах рябит, как пойдет разводить руками; дело дорожное – взять негде, так и берут.

Иван, я думаю, не пойдет в деревню, а пойдет, надумавшись, либо в кучера, либо станет зимою лед колоть, а летом яблоками торговать; весной же и осенью перекупать и продавать что случится на толкучем. Удали его в дворниках тесно, а дома скучно; со столичным образованием человеку в такой глуши жить тяжело...

Примечания

Впервые – «Литературная газета», 1844, № 38 и 39 (28 сент, и 3 окт.), за подписью: *В. И. Луганский*; с примечанием; «Из подготовляемой книгопродавцем А. И. Ивановым к изданию книги „Физиология Петербурга“.

Книга «Физиология Петербурга», составленная из трудов русских литераторов, под редакциею Н. Некрасова, часть 1, вышла в свет в 1845 году.

[^^^]

В 40-е годы XIX века Петербург делился на 13 административно-полицейских частей. Здания, в которых помещались полицейские управления той или иной части Петербурга, назывались частными домами, или в просторечии «частями».

[^^^]

Впрочем, Григорий уверял меня однажды, что моет всю посуду свою ежегодно – в понедельник на великий пост, но не для чистоты, а ради греха, как он сам выражался. (*Прим, автора.*)

[^^^]

Платов М. И. (1751 – 1818) – атаман донских казаков, командовавший в Отечественную войну 1812 года казачьими полками.

[^^^]

4

Блюхер Г. Л. (1742 – 1819) – прусский фельдмаршал, известный своим участием в сражениях с армией Наполеона I, после изгнания ее из России.

[^^^]

Фонарное масло. – Улицы Петербурга освещались в 40-е годы XIX века конопляным маслом.

[^^^]